

18+

КАК УБИТЬ ПИФИЮ

АДРИЯ МААР



Адриа Маар

Как убить Пифию

«Издательские решения»

Маар А.

Как убить Пифию / А. Маар — «Издательские решения»,

В шесть лет её продали в храм. В семнадцать — припадки «священной болезни» сделали её голосом Аполлона. Теперь Ксанфа — Дельфийская Пифия, самая почитаемая и самая одинокая женщина Эллады. Жрецы морят её голодом, ядовитые пары отравляют тело, а бог, которому она служит, лишь смеётся в ответ на мольбы. Когда в Дельфы прибывает воин из Коринфа, Ксанфа впервые за годы осмеливается надеяться. Но побег из золотой клетки потребует цены, к которой она не готова.

© Маар А.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава I. Ксанфа	11
Глава II. Посольство	20
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Как убить Пифию

Адрия Маар

© Адрия Маар, 2026

ISBN 978-5-0070-6912-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие.

Дорогой читатель, история, которую ты держишь в руках, родилась из моей давней любви к мифам Древней Эллады — к их мрачной красоте, к их неумолимому року, к их богам, которые слишком похожи на людей, и к людям, которые порой оказываются сильнее богов.

Сюжет этой книги вдохновлён легендами о Дельфийском оракуле и его Пифиях — загадочных женищинах, чьими устами, как верили древние, говорил сам Аполлон. Я опиралась на античные источники, на труды Геродота и Плутарха. Однако «Как убить Пифию» — не исторический трактат. Это художественное произведение, и в угоду сюжету некоторые факты были изменены, домыслены или переосмыслены. Я не претендую на историческую, мифологическую или какую-либо иную достоверность. Все описанные здесь события, обычаи и поступки персонажей существуют только в пространстве этого вымышленного мира и не отражают мировоззрение автора.

Это история о свободе и цене, которую за неё приходится платить. О выборе, который делает человек, даже когда кажется, что выбора не осталось. О тьме и о свете, который можно найти даже в самых недрах отчаяния.

Я хочу выразить бесконечную благодарность моим близким — тем, кто был рядом в долгие месяцы работы над этой рукописью. Спасибо вам за терпение, за веру в меня, за разговоры до поздней ночи и за молчание, когда мне нужно было слушать только голоса персонажей в моей голове. Без вас эта книга осталась бы просто идеей, так и не ставшей словами на бумаге.

И конечно, спасибо тебе — тому, кто сейчас читает эти строки. Спасибо, что взял эту книгу в руки. Спасибо, что готов пройти вместе с главной героиней её путь. Я надеюсь, что её история останется с тобой надолго.

С любовью, Адрия Маар.

Пролог

Семьдесят четвёртый за сегодня.

Он просит узреть его будущее, а сальный взгляд скользит по изгибам моего тела, укрытого белоснежным хитоном.. Руки трусливо подёргиваются — хочет коснуться, но не решается. Правильно. В прошлый раз, когда один из них дотронулся до моего колена, Клеобул велел выпороть его у ворот храма. Не из заботы обо мне — из-за заботы о порядке. Прикосновение к Пифии без разрешения оскверняет ритуал. Осквернённый ритуал — меньше даров. Меньше даров — гнев Верховного жреца. Всё в этом храме подчиняется простой и страшной системе.

Семьдесят четвёртый переминается с ноги на ногу. Я вижу его сквозь золотистую пелену вуали, ниспадающей от лаврового венка до самого кончика носа. Сквозь неё мир становится размытым, почти нереальным, словно я смотрю на людей со дна мутного пруда. Так даже лучше. Их лица кажутся менее отвратительными.

— О великая Пифия, уста Аполлона, прорицательница неложная... — начинает он заученную формулу, и голос его дрожит.

От страха? От благоговения? От похоти? Я давно перестала различать. Все они дрожат одинаково.

Адитон утопает в привычном полумраке. Свет сочится лишь сквозь узкие прорезы под потолком — длинные косые лучи, в которых танцуют пыль и дым курильниц. Здесь пахнет ладаном, серой и чем-то сладковато-гнилостным — так дышит расщелина под моим треножником. Этот запах вьелся в мою кожу, в волосы, в складки одеяния. Я перестала его замечать до тех пор, пока кто-нибудь из паломников не поморщится, входя.

На мне роскошный хитон из тончайшей белой шерсти, расшитый золотой нитью по подолу и рукавам. Золотая вуаль, скрывающая верхнюю половину лица, приколотая к лавровому венку золотыми булавками. На шее — ожерелье из золотых пластин с чеканным изображением лавровых листьев, на запястьях — браслеты в виде змей, кусающих собственные хвосты. Священная символика. Вечность. Возрождение. Ложь.

Одеяние давит на плечи тяжёлым грузом. Золото холодит кожу даже в духоте адитона. Каждый раз, когда я поднимаю руку, браслеты звенят, словно цепи, сковывающие мои запястья. Впрочем, цепи мне не нужны. Куда я побегу? Ноги дрожат от голода и слабости, а голова кружится так, что я едва различаю край треножника, когда опускаюсь на него. Недавно Клеобул снова урезал паёк — сказал, что мне вновь придётся работать вне установленного режима, а значит я должна быть «особенно восприимчива к божественному дыханию». Восприимчива. Какое красивое слово для голодного обморока.

— Я слушаю, — произношу я, едва шевельнув головой. Вуаль сползает чуть ниже, прикрывая верхнюю губу. — Изреки своё прошение.

Семьдесят четвёртый сглатывает. Кадык дёргается на жилистой шее. Торговец — я узнаю их всегда, у них особенный запах: смесь оливкового масла, пота и жадности.

— У меня... у меня нелады в торговле. Корабль с зерном задержался, партнёр в Фивах грозит расторгнуть сделку, жена больна, а сын... сын просит денег на снаряжение, он у меня подался в наёмники...

Он говорит и говорит, а я уже не слушаю. Я смотрю на его нити.

Это всегда начинается мягко — как покалывание в затылке, как будто Зверь внутри меня потягивается после долгого сна. Воздух в адитоне сгущается, газы от расщелины поднимаются волнами, невидимые, но осязаемые. Они вползают в ноздри, обжигают гортань, спускаются в лёгкие. Я чувствую их вкус на корне языка — металлический, чуть сладковатый. Треножник стоит прямо над трещиной в скале, и пневма словно обтекает мои бедра, проникает под хитон горячими, обжигающими волнами, заставляет кожу покрыться мурашками.

Вокруг головы семьдесят четвертого начинают проступать нити.

Сначала они едва заметны — тонкие, серебристые, почти серы, дрожащие, как паутина на ветру. Потом становятся ярче, плотнее, оплетают его тело и тянутся куда-то в темноту за его спиной, в будущее, где разветвляются, переплетаются, рвутся. Каждая нить — возможная судьба. Каждое переплетение — выбор, который ещё не сделан.

Золотые змеи в моём затылке просыпаются окончательно.

Это значит — грядёт припадок. Не малый, с дрожью и потерей речи, а тот самый, когда тело выгибается дугой, из горла рвётся крик, и я теряю себя на несколько мгновений — или часов, я никогда не знаю точно. Золотые змеи всегда приносят самые ясные видения. И самую страшную боль после.

Я болезненно морщусь от одного лишь предвкушения. С губ срывается тихий вздох.

Семьдесят четвёртый умолкает. Он видит, что я больше не слушаю — моя голова запрокинулась, пальцы вцепились в края треножника, побелевшие костяшки проступают сквозь тонкую бледную кожу. Он должен бы испугаться. Должен бы отступить. Но вместо этого он подаётся вперёд, жадно вглядываясь в моё лицо под вуалью, и я чувствую его дыхание — кислое, с запахом пережаренного лука и дешёвого вина.

— Говори! — горячо шепчет он. — Говори прорицательница! Я заплатил!

Я всматриваюсь в его нити.

Вот он теряет корабль с зерном. Буря разбивает судно о скалы у мыса Сунион, команда гибнет, товар идёт ко дну. Он разорён, но жив и здоров. Через год открывает новое дело — берёт деньги под проценты, богатеет на чужом горе, умирает в шестьдесят три года от удара, окружённый нелюбящими детьми.

А здесь он теряет не корабль, а жену. Она умирает от лихорадки долгой мучительной смертью. Он искренне горюет, но женится уже через полгода, и новая жена оказывается стократ злее и жаднее его самого. Она обкрадывает его, путается с рабами и в конце концов отравляет его ядом. Он погибает в мучениях, так и не понимая, кто его сгубил.

Вот он теряет сына — тот гибнет в первой же стычке наёмников, и весть о его смерти приходит через три месяца. Семьдесят четвёртый седеет за одну ночь, бросает торговлю, уходит в храм Аполлона в Коринфе и живёт там до глубокой старости — тихий, сломленный, опустошённый.

А вот — совсем тонкая, едва заметная нить, дрожащая как струна, — его сын возвращается домой «героем». Они побеждают в той стычке, грабят деревню, насилюют женщин, убивают детей, парень получает награду, возвращается домой с деньгами и «славой», женится на хорошей девушке, которую в грош не ставит и нещадно колотит, у них рождаются дети. Семьдесят четвёртый доживает до восьмидесяти в окружении внуков и умирает в своей постели, держа за руку жену.

Я неотрывно гляжу на эту нить — и чувствую, как рот наполняется слюной. Не от голода, а от клокочущей злости.

Он стоит передо мной, сальный, жадный, похотливый, и смотрит на моё тело под ритуальным хитоном. Он заплатил храму шесть серебряных драхм — цену пятнадцати литров оливкового масла или козы — и думает, что купил право на моё тело и моё зрение. Он придёт домой, расскажет друзьям, как «видел Пифию в трансе», как «она билась в судорогах», как «из уст её исходил глас бога». Он будет хвастаться этим за ужином, облизывая жирные пальцы, пока его сын будет убивать невинных.

И он получит свою счастливую старость.

Золотые змеи в моём затылке шипят. Боль нарастает — тупая, пульсирующая, как будто череп распирает изнутри. Я знаю, что будет дальше: спазм в горле, пена на губах, крик, который вырвется из меня и будет звучать, пока не сорву голос. Моё тело перестанет быть моим, и Зверь возьмёт своё.

Но перед этим у меня есть мгновение. Одно короткое мгновение, когда я ещё контролирую свои руки. Свои слова. Свой выбор.

Я протягиваю руку и касаюсь серебристых нитей над головой семьдесят четвёртого. Мои пальцы проходят сквозь них, как сквозь воду, но я чувствую каждую: холодную, горячую, дрожащую, натянутую.

Я нахожу нужную. «Счастливую». Ту, где сын возвращается живым.

И обрываю её.

Это просто — проще, чем раздавить паука. Нить натягивается, звенит и лопается с тихим звуком, который слышу только я. Остальные нити вздрагивают, перестраиваются, заполняют пустоту. Гобелен его судьбы затягивает прореху.

Теперь у него нет будущего, где сын выживает.

Он умрёт в первой же стычке. Умрёт молодым, глупо, от случайной стрелы или удара мечом в пах. Умрёт в грязи, зовя отца, а отец в это время будет сидеть в харчевне с друзьями и хвастаться, как сподобился посетить Дельфийский храм.

Я болезненно улыбаюсь под вуалью. Улыбка выходит кривая — одна сторона лица уже немеет, предвещая судорогу.

— Твой сын, — произношу я, и голос мой звучит низко, гортанно, чуждо. Он уже не принадлежит мне. Пневма обжигает гортань, слова выходят как сквозь густой туман. — Твой сын сгинет в первом же бою. Ты получишь весть о его смерти до конца года. Твоя жена не переживёт горя. Твой торговый дом падёт. Ты закончишь жизнь нищим при храме, и никто не вспомнит твоего имени.

Семьдесят четвёртый замирает. Жадная улыбка исчезает с его губ. Его лицо — я вижу его сквозь вуаль, сквозь пелену надвигающегося припадка, — идёт пятнами. Рот открывается и закрывается, как у рыбы, выброшенной на берег.

— Это... это неправда... — бормочет он. — Ты лжёшь! Ты не можешь...

Но я больше не слышу его.

Золотые змеи взрываются в моём затылке ослепляющей болью. Мой позвоночник выгибается назад с такой силой, что я слышу хруст. Руки взлетают, браслеты звенят, лавровый венок сползает набок. Из горла рвётся звук — даже не крик, а вой, долгий, животный, который заполняет адитон и отражается эхом от каменных стен, пока я лечу с треножника на твёрдый пол.

Где-то там, в темноте, Клеобул вещает спокойным голосом: «Солнцеликий Феб нас посетил. Внемлите».

А я падаю в бездну, где больше нет ни людей, ни их жадности, ни их прикосновений. Только тьма и боль. И смех.

Смех, который слышу только я. Смех Аполлона.

Очнулась я на полу в своей келье.

Спина болела так, будто меня били палками — от шеи до копчика сплошной синяк. Во рту железный привкус крови, губы распухли, щека саднит — опять прикусила язык и внутреннюю сторону щеки во время припадка. Хитон, роскошный белый хитон, расшитый золотом, испачкан слюной и сукровицей.

Я попыталась поднять руку к лицу и не смогла — правая рука не слушалась. Это случилось иногда после больших припадков. Пройдёт через несколько часов или дней. Или однажды не пройдёт вообще. Лекарь, которого иногда присылал Клеобул, говорил что-то про «священный паралич» и советовал больше молиться богам.

Священный паралич. Священная болезнь. Священная диета. Священная смерть. Всё в этом храме было священным, кроме меня самой.

Я перевернулась на бок — медленно, преодолевая боль в каждом суставе. Пол был холодным и шершавым, сложенным из грубых каменных плит. Где-то в углу капала вода, и этот повторяющийся звук был единственным, кроме моего дыхания, что нарушал тишину.

Сквозь узкую прорезь окна просачивался серый свет. Близится рассвет? Закат? Я не знала, сколько времени прошло. Может, час. Может, сутки.

Я попыталась вспомнить прошедший день и не смогла.

Остались только фрагменты: лицо семьдесят четвёртого, его дрожащий кадык, тусклые нити над его головой, ощущение лопающейся нити под моими пальцами. Я оборвала её. Я убила его сына.

Нет, не убила. Лишь убрала единственный путь, где тот выжил.

Между этими понятиями была разница, и я всё ещё чувствовала её достаточно остро, чтобы понимать: я сделала что-то страшное. Что-то, за что боги должны были бы покарать меня, если бы они чаще обращали внимание на деяния смертных. Если бы они смотрели.

Но Аполлон меня не карал. Аполлон смеялся и наслаждался тем шоу, что я устраивала.

Я слышала его восторженный смех каждый раз, когда падала во тьму после припадка. Это был красивый смех — звонкий, юный, жестокий. Так смеётся мальчишка, который отрывает крылья мухе и смотрит, как она ползает кругами по столу. Он не ненавидит муху. Ему просто интересно. Он так рассеивает свою скуку.

— Забери это, — прошептала я в темноту пустой кельи. Губы едва шевелились, разбитые и распухшие. — Забери этот свой дар. Я не хочу его. Я не хочу быть твоим сосудом. Не хочу больше всего этого...

Тишина.

А потом — тихий, как шелест листьев, звук внутри моей головы. Смех.

Я закрыла глаза и увидела его. Лишь силуэт в ослепительном золотом сиянии, слишком ярком, чтобы смотреть без боли. И голос — не голос даже, а вибрацию, которая проходила через мои кости и заставляла зубы ныть.

— *Ты злишься, маленькая Пифия. Это очаровательно.*

— Я не хочу этого...

— *Солнце не спрашивает, хотят ли его света. Оно просто светит.*

Смех сделался громче. Я почувствовала, как кровь запульсировала в висках. Услышала, как шатается деревянный столик в углу кельи, и поспешно открыла глаза. Келья вернулась — серые стены, узкое окно, капли воды в углу. Аполлона не было.

Но я знала, что он здесь. Всегда рядом. Смотрит, ждёт, забавляется.

Через несколько часов дверь открылась.

На пороге стоял Клеобул. Лицо его было, как и всегда, бесстрастным. За его спиной маячила чья-то фигура — младший жрец или раб, я не разглядела в полумраке.

Клеобул вошёл, не спрашивая дозволения, и оглядел меня, как оглядывают товар на рынке. Я всё ещё лежала на полу — сил подняться не было. Хитон местами заскоруз от засохшей слюны, вуаль потерялась где-то во время припадка, волосы спутались и прилипли к щекам.

— Восемьдесят посетителей, — произнёс он ровным голосом. — Хороший день.

Я промолчала, отведя взгляд в сторону. Я помнила лишь семьдесят четыре. Значит, остальные шестеро приходили ко мне, пока я билась в припадке, а жрецы вещали им пророчества за меня, как обычно и бывало, когда я бессвязно выкрикивала что-то.

Клеобул же продолжал, не дожидаясь от меня никаких реплик.

— Ты хорошо показала себя сегодня. Посольство из Мегар прибывает послезавтра, — жрец встал возле меня, глядя сверху-вниз с высоты своего роста. Поднял руку, предвещая мои возражения, на которые не хватало сил, — Знаю-знаю, обычно ты вещаешь каждый седьмой

день месяца, но в очередной раз придётся сделать исключение. Ты стала лучшим оракулом за последнее столетие, и люди тянутся к тебе. А они хорошо платят.

— Я не могу, — прошептала я. — Я умираю.

— Ты не умираешь, Ксанфа. Ты истощена. Это разные вещи.

Он присел на корточки — впервые за долгое время я видела его лицо так близко. Глубокие морщины, залёгшие от крыльев носа к уголкам рта. Тёмные глаза, почти чёрные, бесстрастные, как у статуи. Редкие, опущенные до плеч седые волосы, сквозь которые просвечивает кожа. От него пахло елеем и ладаном.

Он взял мою правую руку — ту, что всё ещё не слушалась, и поднял её. Рука безвольно упала обратно, и Клеобул удовлетворённо кивнул.

— Паралич временный. К утру пройдёт. Я пришлю Эвфросину, она разотрёт тебе спину. Еды сегодня не будет — ты знаешь правило: день перед большим приёмом — только вода.

— Пожалуйста, — едва слышно взмолилась я. В уголках глаз встали слёзы. — Молю, Клеобул. Дай мне поест. Хотя бы кусок хлеба. Я упаду, не дойдя до треножника. Я опозорю храм перед посольством.

— Ты упадёшь с треножника так же, как падаешь всегда, — сухо ответил он, поднимаясь. Колени его скрипнули. — Это не позор, дитя. Это служение. Чем сокрушительнее твоё падение, тем громче говорит наш солнцеликий Феб твоими устами.

Он развернулся и вышел, не прощаясь, не помогая лечь хотя бы в постель. Дверь заскрипела следом за ним. Я снова осталась одна — в темноте, в голоде, в боли.

Но, прежде чем дверь захлопнулась окончательно, я увидела за спиной Клеобула знакомую сгорбленную фигурку. Эвфросина. Она не вошла — не смела войти, пока главный жрец не ушёл. Но она поймала мой взгляд и чуть заметно кивнула.

Шаги Клеобула удалились и стихли. Дверь закрылась. В неё раздался едва различимый тихий стук, почти сразу второй, за которым более ничего не последовало. Я поняла всё сразу и шумно выдохнула.

Несколько лет назад мы с Эвфросиной придумали свой собственный язык жестов и некоего рода шифр, который никто не смог бы подслушать. Два стука в стену — «еда на месте», три — «опасность, Клеобул рядом», ладонь, прижатая к губам — «молчи, всё хорошо».

Я закрыла глаза и позволила себе заплакать.

Слёзы текли по щекам, смешиваясь с засохшей кровью на губах и грязью. Я не вытирала их — не было сил. Я лежала на каменном полу в скромной келье роскошного храма, великая Пифия, уста Аполлона, прорицательница неложная, и плакала, как дитя, которое забыли покормить.

А где-то глубоко подо мной, в чреве скалы, дышала расщелина, источая ядовитые пары, и послезавтра мне снова предстояло взойти на треножник и вдохнуть их. И увидеть нити. И выбрать, какие оборвать, какую сделать единственной верной.

И вновь услышать прекрасный и одновременно ужасающий смех.

Глава I. Ксанфа

Я почти не помню лиц.

Это странно, наверное. Я вижу нити чужих судеб так ясно, будто они вышиты золотом по чёрному шёлку, — вижу смерти, рождения, измены и победы людей, которых встречаю впервые. Но лицо моей матери? Только застывшую улыбку и мутное пятно вместо верхней половины лица. Отца? Тёмный силуэт на фоне пыльной дороги.

Помню только руки.

У матери были сухие, потрескавшиеся ладони с жёлтыми мозолями от прялки у основания пальцев. Когда она заплетала мне волосы тем утром, её пальцы дёргали слишком сильно, причиняя боль. Я хныкала, а она цыкала языком и говорила: «Терпи, Ксанфа. Терпи, девочка. Будет красиво». Она заплела мне две тугие косы и перевязала их вместе отрезком красной шерстяной нити, которую обычно берегла для праздничной одежды. Это было странно — красная нить предназначалась для особых дней. Я не понимала, почему именно сегодня особый день.

Теперь понимаю, она наряжала меня, как наряжают жертвенного ягнёнка или быка перед тем, как вести к алтарю.

Мы вышли из деревни на рассвете, когда петухи ещё не пропели, и шли через каменистые склоны Парнаса. Дорога была белой от пыли и солнца. Извилистая, каменистая, она поднималась всё выше и выше, в холмы, туда, где в дымке жаркого дня угадывались очертания гор. Я никогда не уходила так далеко от дома. Ноги гудели, раскалённые на солнце камни обжигали и больно впивались в босые ступни. Я хромила, но не жаловалась. Отец не любил, когда я жаловалась.

Горы казались мне огромными, страшными, они нависали над тропой серыми громадами, и в расщелинах между скалами клубился туман, похожий на дыхание спящего великана. Я без конца дёргала мать за подол её старого хитона.

— Мама, куда мы идём?

— Смотреть представление, — отвечала она, голос её был лёгким, почти весёлым. — Бродячие актёры приехали. Будут маски, будут пляски. Ты же любишь маски?

Я улыбнулась. Я любила маски. За год до того, на празднике Диониса, заезжие актёры показывали комедию — мужчины в расписных масках с разинутыми ртами бегали друг за другом, падали, кричали дурными голосами, а зрители хохотали до слёз. Мне было пять, и я смеялась громче всех, хлопая в ладоши. Но сейчас, шагая по каменистой тропе в неизвестность, я чувствовала смутную тревогу, которую ещё не умела облечь в слова. Актёры на горе? На вершине, где нет ни деревни, ни площади для представлений?

Отец шагал впереди. Я смотрела на его широкую спину, обтянутую грубой шерстяной хламидой, на тяжёлый узел в правой руке — наверняка провизия на день пути, фляга с разбавленным вином, может быть, что-то ещё. Он ни разу не обернулся за всю дорогу. Он никогда не оборачивался, когда шёл куда-то с нами, детьми, словно мы были не спутниками, а поклажей, которую он обязан был доставить из одной точки в другую.

К этому я привыкла. Отец вообще смотрел на меня редко — только когда я делала что-то не так. Однажды я опрокинула кувшин с молоком, и он ударил меня по лицу тыльной стороной ладони — молча, без замаха, почти лениво, как отгоняют муху. Было больно. У меня остался синяк под глазом, и соседки то и дело спрашивали мать, что случилось. «Упала», — отвечала та, улыбаясь своей обычной улыбкой — застывшей, фарфоровой. Её губы были сухими, потрескавшимися, и эта её улыбка всегда казалась мне странной и пугающей. Она всегда улыбалась, когда вралась.

Родную деревню я плохо помню. Только лабиринт из пыльных улиц, крики разносчиков и запаха дубильной коры от соседской мастерской. У нас было две комнаты и внутренний двор, где мать разводила тощих кур, которые неслись плохо, зато кричали отменно.

Нас было много в доме. Два старших брата — Филипп и Дамон, старшая сестрица Кора и младенец Алким, который родился за год до того, как меня отвели в храм. Были ещё две младшие сестрицы, но они умерли ещё до того, как научились ходить, — одна от тифа, вторая не пережила первой же зимы. Я плохо помню их, — только крошечные кулёчки из грубой ткани, которые мать выносила из дома с тем же фарфоровым лицом. После вторых похорон отец напился и сломал стол.

Отец работал в поле — арендовал клочок земли у богатого землевладельца и выращивал ячмень. Когда урожай удавался, мы ели хлеб. Когда не удавался — ели кашу из полбы пополам с мякиной. Чаше второе. Иногда отец приносил домой зайца, пойманного в силки, и тогда у нас был настоящий праздник. Но чаще пустые руки и тяжёлое молчание. Отец вставал засветло, уходил в поле и возвращался затемно, пропахший потом и землёй. Он стал много пить — сначала разбавленное вино, потом неразбавленное, а когда не было денег на вино, пил забродивший сок инжира, от которого его лицо становилось багровым, а кулаки — особенно тяжёлыми. Он бил старших братьев и сестру. Бил меня — редко, но крепко, если я попадалась под горячую руку. Но в разы чаще он колотил мать. После таких дней она ходила с распухшей скулой и заплывшим глазом и всё твердила соседкам, что ударились о дверной косяк в темноте или неудачно споткнулась. И улыбалась.

Мать тоже пила, когда отца не было. У неё были свои заначки — кувшин, спрятанный в соломе за курятником, или фляга в щели между камнями очага. После долгих жадных глотков она становилась почти ласковой и слезливой, сажала меня на колени и рассказывала о том, как до замужества танцевала на праздниках и какой красавицей была. Я не верила в эту красавицу — у матери были гнилые зубы и одутловатое лицо, — но я кивала и гладила её по руке, потому что пьяная мать была лучше трезвой. Трезвая мать была резкой, злой на весь свет и легко давала подзатыльники. Пьяная мать плакала и просила прощения. Хотя в такие дни братья и старшая сестрица старались не попадаться ей на глаза, потому что она могла вскочить и ударить — не со зла, а просто потому, что внутри неё скапливалось слишком много чего-то тёмного, что требовало выхода. Она никогда не била меня. Я была слишком мала для её гнева.

А теперь я думаю: может, она всегда знала, что продаст меня. Может, именно поэтому не тратила на меня злость — как не тратят злость на откормленную свинью, которую скоро поведут на рынок.

Мои братья — Филипп и Дамон — были старше меня на шесть и пять лет. Они уже работали в поле с отцом. Дома от них пахло потом, землёй и той особенной усталостью, которая делает людей молчаливыми и жестокими. Они никогда не играли со мной. Для них я была просто ещё одним голодным ртом, девчонкой, с которой неинтересно и бесполезно. Иногда они швыряли в меня коркой хлеба, как в собаку, и смеялись, когда я ловила.

Сестрица была старше на три года. Она должна была стать моей союзницей, но стала врагом или я была врагом для неё. Она злилась на меня за то, что я была младше и мать ещё брала меня на колени, покачивая пьяной головой. Кору мать уже считала взрослой и заставляла работать наравне с женщинами. Кора таскала воду, стирала, нянчила младенца и ненавидела меня за каждую минуту моего детства, которая ещё оставалась у меня и которой уже не было у неё.

Младенца Акима я почти и не помню. Помню лишь, что родился он красным и крикливым, и мать почти не выпускала его из рук первые месяцы.

Первый припадок случился со мной, когда мне было пять. Я помню это совсем смутно. Помню, как мир вокруг изменился — цвета стали ярче, звуки громче, а потом всё завертелось,

и я упала, забившись в судорогах. Мать рассказывала соседкам, что меня «скрутило в узел», что изо рта пошла пена и что она думала — я умираю.

Я не умерла, но припадки стали повторяться. Раз в несколько месяцев, а то и чаще. Соседи начали шептаться. Кто-то говорил, что меня проклинали, а одна старуха, которую считали ведуньей, хотя была она обычной травницей, посмотрела на меня, бьющуюся в пыли, и сказала: «Это священная болезнь. Её коснулся один из великих богов.»

После этого отец перестал поднимать на меня руку. Не из жалости, а из страха. Бить ребёнка, которого выбрал бог, было страшно. Но и мать после этого любить меня не стала и перестала брать на колени. Я превратилась в доме в нечто пограничное: не совсем человек, не совсем проклятие, не совсем благословение. Меня терпели. Со мной считались ровно настолько, чтобы не разгневать неведомого бога, который иногда вселялся в моё тело и заставлял меня биться в грязи, исходить пеной и кусать до крови язык.

Я не понимала этого тогда. Я просто знала, что со мной что-то не так, и что взрослые смотрят на меня по-другому, и что эта разница не сулит ничего хорошего.

Дорога в Дельфы заняла почти весь день.

Храм открылся перед нами внезапно — мы обогнули скальный выступ, и он вырос из горы, словно был не построен, а рождён ею. Белый мрамор колонн сиял в лучах заходящего солнца, и этот свет резал глаза, непривыкшие к такой белизне после серых деревенских стен. Толстые колонны подпирали треугольный фронтон, расписанный яркими красками — красной, синей, золотой. Там были изображены фигуры: юный, прекрасный бог с кифарой в окружении муз, сцены битв, колесницы, запряжённые крылатыми конями. Я задрала голову так высоко, что затылок упёрся в спину, и открыла рот.

— Мамочка, это дворец? — восхищённо прошептала я тогда. — Здесь живёт царь?

— Здесь живёт бог, — ответила мать, а в её голосе мне почудилась странная дрожь. Не благоговение, что-то другое.

— Мы будем смотреть представление здесь?

— Да, девочка. Здесь. Идём.

Мы вошли внутрь. Это был первый и последний раз, когда я видела храм снаружи.

Внутри было прохладно и пахло ладаном. Пол был выложен мраморными плитами, гладкими и холодными под моими босыми, обожжёнными нагретым песком и камнями, стёртыми ногами. Но тогда я не обращала внимания на боль. Я скользила по мраморному полу, как по льду, и это почти веселило меня. Мы вышли во внутренний двор, на залитую уходящим солнцем небольшую площадку с лавровым деревом посреди.

— Подожди здесь, Ксанфа, — наказала мать, коснувшись мозолистой ладонью моей макушки.

Она ушла с отцом в боковой предел храма, а меня оставили сидеть на каменной скамье. Я болтала ногами, рассматривая гигантских каменных змей, обвивающих подножие одной из статуй, и думала о том, что актёры, наверное, будут самыми лучшими, раз уж выступают в доме бога. Интересно, которого именно? Может, Зевса или Посейдона? Точно Зевса! Такой роскошный дом может быть только у царя богов.

Мать вернулась одна. Без отца. Без узелка с едой.

— Мамочка, а где папа?

— Он договаривается, чтобы нас пропустили поближе.

Я медленно кивнула, опасливо скользнув глазами по матери. Она не улыбалась, странно дёргалась, словно от нетерпения. Я заёрзала на месте.

Вскоре появился отец, но шёл он не один. Высокий человек в белом одеянии, расшитом золотыми пальмовыми ветвями, встал прямо передо мной. Жрец. Его лицо было скрыто

капюшоном, и солнце светило ему в спину так, что я видела только силуэт с золотым ореолом вокруг головы. Тогда мне показалось, что это сам бог вышел поприветствовать меня.

— Это она? — спросил он. Голос его напомнил мне шелест старого папируса.

Отец кивнул.

Жрец подошёл ко мне. Наклонился, взял моё лицо в свои длинные пальцы и повернул вправо-влево, как осматривают лошадь перед покупкой. Я сидела неподвижно, замерев от страха и непонимания. Его пальцы были холодными, а ногти — аккуратно подстриженными и чистыми, не то, что у отца. Он заглянул мне в рот, проверил зубы, оттянул веко и посмотрел в глаза.

— Тощая, — констатировал он. — Возраст?

— Восемь, — соврал отец. Мне было шесть.

— Болезни?

Тишина. Я заметила, как мать переступила с ноги на ногу. Потом отец ответил — неохотно, как будто слова застревали у него в горле:

— Падучая. Припадки, но нечасто. И она не буйная.

Жрец выпрямился, и на его бесстрастном лице что-то мелькнуло. Не улыбка — скорее тень интереса.

— Падучая, — повторил он. — Священная болезнь. Любопытно.

Он отступил, сложил руки на груди и кивнул.

— Мы её берём. Цена обычная — сто драхм.

Сто драхм. Я не знала тогда, много это или мало. Позже, много позже, когда я уже понимала толк в расценках, я узнала, что здоровая рабыня на рынке стоит около двухсот. Моя болезнь снизила цену вдвое. Я была уценённым товаром. Бракованным сосудом.

Но отцу хватило. Он взял деньги — кожаный мешочек, который жрец извлёк из складок одеяния, — взвесил в руке и передал матери. Та поспешно спрятала кошель за пазуху, жадно облизнув губы. Ни мать, ни отец не стали пересчитывать монеты. То ли доверяли, то ли просто не умели.

— Мам? — позвала я. Голос мой прозвучал тонко и жалобно, как писк птенца. — Мам, а где актёры? Мы уже пойдем смотреть?

Мать посмотрела на меня. Я ждала, что она улыбнётся, подмигнёт, скажет: «Потерпи ещё чуть-чуть, сейчас пойдём». Но она не улыбнулась. Её лицо было пустым, как глиняная табличка, с которой стёрли все письмена. Она смотрела на меня, но не видела — или видела что-то другое. Сто драхм у себя за пазухой. Четыре оставшихся рта, который нужно кормить. Дорогу домой, которая теперь станет легче без лишнего детского шага.

— Ты побудь здесь, хорошо? Тут будет представление, а мы с папой скоро вернёмся.

Она наклонилась ко мне и поцеловала в лоб. Я до сих пор помню запах — кисловатое дыхание, опять разбавленное вином. Помню, как её мозолистая ладонь на секунду задержалась на моей щеке. Помню, что она вновь улыбнулась своей странной искусственной улыбкой. Я схватила её за подол. Мать отцепила мои пальцы — аккуратно, но твёрдо, как отцепляют репейник от одежды.

— Не глупи, девочка. Мы уйдём ненадолго, а актёры научат тебя служить богу. Аполлону. Любая девочка об этом мечтает.

Я не мечтала об Аполлоне. Я не знала, кто это такой. Я хотела домой — в наш пыльный двор, к нашим тощим курам, к моему углу у очага, где я спала на старой овчине. Там было плохо, но там было знакомо. А здесь всё было чужим: мраморный пол, запах ладана, который душил, холодные пальцы жреца, который только что заглядывал мне в рот.

Отец уже шёл к выходу. Мать поспешила за ним, не оглядываясь. Она шла быстро, почти бежала, и её спина, обтянутая давно выгоревшим на солнце пеплосом, становилась всё дальше и дальше.

— Мамочка! — закричала я.

Она не обернулась

— Мама, папа, вы куда?!

Только у самых ворот, когда я уже была готова броситься за ними, отец вдруг остановился. Я замерла, надеясь, что он передумал, что сейчас обернется, возьмёт меня за руку и скажет: «Ладно, пошли. Пошутили и хватит». Но он не обернулся. Он постоял несколько секунд, глядя куда-то перед собой, и снова зашагал. Мать исчезла в проёме, даже не замедлив шага. Её фигура растворилась во тьме храма, будто её и не было никогда.

Я вскочила со скамьи, но ноги не слушались — затекли после долгой дороги и сидения на скамье, стёртые в кровь ступни горели. Я сделала несколько шагов к выходу из храмового двора, но дорогу мне преградил жрец, положив руку мне на плечо — тяжёлую, с длинными чистыми пальцами.

Тогда я не знала имени этого жреца, но это был Клеобул. В те годы он ещё не был главным надзирателем, но уже занимал какую-то важную должность в храме — казначея, смотрителя, я не знаю. Много лет спустя он сам рассказал мне, что в тот день его поставили принимать новых служительниц.

— Тише, дитя, — произнёс он. — Твои родители вернутся позже. А ты пока поможешь нам подготовиться к представлению. Ты ведь любишь представления?

Я кивнула, глотая слёзы. Я не понимала, почему плачу. Просто чувствовала, как внутри что-то рвётся, словно та самая красная лента, которой мать перевязала мне косы утром.

Родители не вернулись ни позже, ни через день, ни через месяц. Никогда.

Первые годы в храме слились в одно долгое, мутное пятно.

Я была слишком мала, чтобы работать по-настоящему, но слишком велика, чтобы меня кормили задаром. Меня определили в услужение к младшим жрецам — я мыла полы, таскала воду, чистила лампы и убирала отхожие места. Последнее было хуже всего. В храме не было нормальной канализации — только глубокие ямы под каменными плитами, куда уходили нечистоты. Раз в неделю я, вместе с другими девочками-рабынями, спускалась туда с вёдрами и скребками. Вонь стояла такая, что глаза слезились, а рвотные позывы не прекращались часами после работы. Мы выгребали нечистоты, выносили их на хозяйственный двор и закапывали в землю. После этого нас отмывали в холодной воде, и мы снова возвращались к своим обязанностям.

Я была рабыней во всём, кроме имени. Храм не называл меня рабыней. Храм называл меня «послушницей», «воспитанницей Аполлона», «юной служительницей». Красивые слова, за которыми прятались мозоли на коленях, сбитых в кровь от мытья каменных полов, и вечно голодный желудок.

Кормили нас, младших послушниц, дважды в день: утром — жидкая ячменная каша, вечером — хлеб с разбавленным вином и горсткой оливок. Я всегда хотела есть. Ложилась спать голодная и просыпалась голодная, и во сне мне являлась еда — горячие лепёшки с мёдом, варёные яйца, жирная баранина, которую готовили для пиров Верховного жреца. Я никогда не пробовала этой еды, только собирала объедки с глиняных тарелок, которые мыла после пиршеств, и иногда, когда никто не видел, облизывала пальцы, испачканные в бараньем жире.

Моё тело росло медленно и криво в этом холоде, в этой грязи, в этом сумраке, куда солнце проникало только сквозь узкие щели под потолком. Кожа приобрела тот зеленовато-бледный оттенок, который остался навсегда, — я почти не видела солнца, проводя дни в полумраке храмовых галерей. Волосы, каштановые и вьющиеся, я заплетала в тугий узел на затылке или свободную косу, которая то и дело мешалась. Я была худой, угловатой, с длинными руками и ногами, которые, казалось, принадлежали кому-то более высокому. Жрица, надзиравшая за

младшими послушницами, качала головой и говорила: «Ты слишком худая, девочка. Кому ты будешь нужна, если не расцветёшь?»

Я не понимала, кому и зачем я должна быть нужна. Я просто хотела есть и спать.

Болезнь моя вновь проявилась на втором году жизни в храме. Может быть, от скудной еды, от холода, от постоянного страха перед жрицами, которые били нас за любую провинность. Первый припадок случился внезапно — я несла кувшин с водой и вдруг замерла на месте, не в силах пошевелиться. Глаза закатились, из горла вырвался странный клопочущий звук. Я рухнула на каменный пол и забилась в судорогах, а кувшин разлетелся вдребезги. Когда я очнулась, надо мной стояли жрецы. Их лица были торжественны и странно возбуждены.

— Воистину священная болезнь, — произнёс один из них, и я услышала в его голосе не страх, не жалость, а трепет. — Аполлон коснулся этого ребёнка.

Тогда я впервые по-настоящему поняла, что мои страдания ничего для них не значат. Вернее, значат, но не так, как для обычных людей. Когда крестьянский мальчик падает в припадке, его лечат травами и заговорами или прячут от соседей, чтобы не поползли слухи о порче, как это было и со мной. Когда послушница в храме Аполлона бьётся в судорогах — это божественное знамение, которое нужно изучать, записывать, толковать. Я перестала быть просто девочкой. Я стала феноменом.

После второго припадка меня переселили в отдельную келью — не из заботы, а чтобы наблюдать. После третьего — освободили от самой грязной работы, оставив только мытьё полов и уборку после визита паломников. После пятого — ко мне начал приходить старый жрец-писарь, который расспрашивал меня о том, что я видела во время припадка. «Образы? Голоса? Цвета? Запахи?» — спрашивал он, склонившись над восковой табличкой. А я не могла объяснить ему, что видела только тьму и боль.

Я научилась жить с этим. Научилась чувствовать приближение припадка — по особому запаху гари, которого никто больше не слышал, по звону в ушах, по тому, как мир вокруг становился слишком ярким и одновременно далёким. Научилась отходить в сторону, в тень, в угол, чтобы не разбить что-нибудь и не быть наказанной. Научилась приходить в себя после — с разбитыми губами, с болью в каждой мышце, с мутной головой и провалами в памяти.

Годы шли. Девочки-рабыни, с которыми я начинала, уходили — кто-то умирал, кого-то продавали в другие храмы или в дома гетер¹, кого-то забирали родственники. Я оставалась. Я была частью инвентаря, как старый алтарь или треснувший котёл для омовений — не очень ценной, но и не совсем бесполезной.

К четырнадцати годам я смирилась с тем, что вся моя жизнь пройдёт в этих стенах. Я буду мыть полы в адитоне, пока не состарюсь и не умру где-нибудь в углу, и никто не вспомнит моего имени.

Я ошибалась.

Однажды, во время припадка, я увидела серебристые линии. Они тянулись от людей, от животных. Дрожали, переплетались и уходили куда-то далеко, за пределы видимого мира. Я не понимала, что это такое, но чувствовала — если надавить на линию, оборвётся что-то важное. Что-то, что связывает человека с его будущим.

Когда я рассказала об этом жрецу-писарю, он долго молчал. А потом пошёл к Верховному и говорил с ним за закрытой дверью.

После этого разговора моя жизнь изменилась. Меня перестали посылать на уборку. Мне дали новую одежду. Мне наказали помогать Пифии. Мне увеличили паёк, но вовсе не потому, что жалели, а потому что решили, что я могу пригодиться.

Дар прорезался во мне, как прорезается зуб — медленно, болезненно и неотвратно.

¹ Гетера — в [Древней Греции](#) женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни, публичная женщина высшего уровня.

Мне было семнадцать, когда погибла старая Пифия.

Её звали Филомела. Она была Пифией дольше, чем я жила на свете — сухая, седая старуха с выцветшими глазами и голосом, похожим на карканье ворона. Она уже почти не ходила сама: её вносили в адитон на носилках и усаживали на треножник двое младших жрецов. Её тело высохло почти до самых костей, кожа обтягивала череп как пергамент, сквозь который просвечивали голубые жилки. Глаза запали глубоко в глазницы, и в них стояло то особенное выражение, которое я позже узнала в собственном отражении. Но когда она вдыхала пневму, она преображалась: голос становился звучным и низким, тело распрямлялось, глаза закатывались, и из её уст изливались пророчества — тёмные, витиеватые, страшные.

Я боялась её. Все боялись. Даже Клеобул, который не боялся никого, разговаривал с ней с почтительной осторожностью.

Я помню тот день до мельчайших подробностей — странность памяти, которая последние годы всё чаще подводит меня, но хранит те мгновения с жестокой ясностью. Был вечер. Паломники, приходившие к оракулу днём, давно разошлись по гостевым дворам и постоянным дворам у подножия горы. В храме стояла тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра в колоннаде. Я убирала в адитоне после прихода просителей — моя единственная оставшаяся обязанность, ритуал, который я выполняла каждую неделю вот уже три года. Протереть пол от следов, вычистить лампы, убрать увядшие лавровые ветви. Филомела уже закончила пророчества — она сидела на скамье, тяжело дыша и приходя в себя после транса. Ждала, когда её заберут жрецы. Я старалась двигаться тихо, чтобы не тревожить её.

Старая Пифия редко говорила со мной. Она вообще редко говорила, ведь после пророчеств голос садился, и она часами сидела молча, пила воду с мёдом, жевала лавровые листья и смотрела в стену. Но иногда, когда мы оставались вдвоём, она бросала короткие фразы, которые звучали как обрывки пророчеств.

— Не верь им, Ксанфа, — сказала она в тот вечер. — Они будут говорить, что ты избранная. Что бог говорит твоими устами. Не верь. Мы просто полезные козы-кормилицы, которых держат до тех пор, пока силы не иссякнут.

Я не поняла её тогда. Я была слишком юна, слишком напугана, слишком занята мытьём пола. А теперь я вспоминаю эти слова каждую ночь.

Я стояла на коленях у треножника и драила каменные плиты, когда услышала странный звук — не то вздох, не то хрип. Я обернулась.

Старая Пифия сползла со скамьи на пол. Её тело билось в конвульсиях — но не так, как у меня во время припадка. Это было что-то другое, более страшное, потому что глаза её были широко открыты, и в них стояло сознание. Она задыхалась. Из рта текла струйка слюны, смешанная с желчью, и она пыталась что-то сказать, но вместо слов выходил только булькающий звук.

— Помо... ги... — прохрипела она.

Я бросилась к ней, упала на колени, схватила за плечи. Её тело было лёгким, словно детским, и горячим наощупь — жар шёл изнутри, словно кровь в её жилах закипала.

— Я сейчас! Сейчас позову кого-нибудь! — закричала я и попыталась встать.

Но её рука — сухая, с длинными жёлтыми ногтями, похожая на птичью лапу, — вцепилась в моё запястье с неожиданной, пугающей силой. Она притянула меня ближе к своему лицу. Её дыхание пахло серой и гнилью — тем самым запахом из расщелины, который она вдыхала тридцать лет.

— Не... не надо... — прошептала она. — Уже... поздно...

И обмякла.

Я видела, как жизнь уходит из её глаз. Это было похоже на то, как гаснет масляная лампа, когда жир в ней заканчивается: пламя не исчезает сразу, оно съёживается, дрожит и медленно

уходит в никуда. Её рука разжалась, упала на каменный пол с глухим стуком. Рот приоткрылся, челюсть отвисла. Последний выдох вышел из её груди с тихим свистом.

Я стояла на коленях перед мёртвым телом и не могла пошевелиться. В моей голове билась одна мысль: она была здесь тридцать лет. Она вдыхала пневму тридцать лет. Она предсказывала чужие судьбы тридцать лет. И умерла на каменном полу рядом с девочкой, которая мыла пол. Я стояла и смотрела на неё.

Я почувствовала знакомый звон в ушах, запах гари, которого не было наяву, — ауру, предвещающую припадок. Я попыталась отойти, как делала всегда, но ноги не слушались. Мир вокруг стал слишком ярким, слишком громким, слишком страшным. Я видела мёртвую Пифию, и её лицо накладывалось на другие лица — мать, уходящая в ворота и не оборачивающаяся, отец, протягивающий ей кошель, Клеобул с его холодными пальцами, заглядывающими мне в рот...

Затылок пронзила знакомая боль, и я схватилась за голову.

Золотые змеи проснулись и поползли вверх по позвоночнику, вгрызаясь в основание черепа. В глазах потемнело. Я почувствовала, как мои руки начинают дрожать, а горло перехватывает спазм. Тело отказалось мне подчиняться — я рухнула на пол в двух шагах от мёртвой Филомелы. Моё тело выгнулось дугой, ударились о мраморные плиты, из горла вырвался крик. Долгий, животный, совсем не похожий на человеческий голос. Меня колотило так, что я разбила губы в кровь и вывихнула плечо. Из рта пошла пена и сделалась розовой от крови.

Где-то в глубине сознания, на самом дне боли, я видела серебристые нити — сотни, тысячи нитей, которые тянулись от мёртвого тела старой Пифии, обрывались одна за другой, сворачивались в клубки и исчезали в темноте. Её будущего больше не было. Его не стало.

И тогда другая нить — яркая, золотая, пульсирующая — потянулась от её тела ко мне. Она обвилась вокруг моего запястья, поднялась к горлу, оплела голову. Я чувствовала её тепло — не обжигающее, как можно было ожидать, а странно успокаивающее, как будто кто-то накрыл меня одеялом.

Где-то на грани сознания я слышала, как открылась дверь в адитон, как кто-то закричал, как затопали ноги вниз по лестнице, как зашуршала ткань занавеса. Меня перевернули на бок — я узнала руки Эвфросины, её узловатые пальцы, сжимающие моё плечо. «Тихо, тихо, девочка, — шептала она. — Тихо, всё пройдёт». Но припадок не проходил.

А потом я услышала голос Клеобула.

Он стоял надо мной — я знала это, хотя не могла его видеть. Его голос звучал странно — не испуганно, не раздражённо, не бесстрастно, как обычно, а... благоговейно.

— Смотрите, — сказал он, и я услышала, как другие жрецы столпились вокруг. — Дар переходит.

— Но она всего лишь рабыня... — возразил кто-то.

— Аполлон выбирает не по происхождению, — отрезал Клеобул, в его голосе я услышала что-то новое: не просто уверенность, а почти религиозный экстаз. — Феб избрал её. Священная болезнь, которая мучила её с детства, была знаком. А теперь, когда Филомела пала, дух пророчества перешёл в ту, что оказалась рядом. Это её судьба. Она — новая Пифия.

Я хотела закричать: «Нет! Нет, это не так! Я просто испугалась! У меня просто припадок!». Но язык не слушался, и из моего горла вырывался только бессвязный вой.

Меня подняли на руки и понесли куда-то. Тело Филомелы осталось лежать на полу — мёртвая Пифия больше никого не интересовала. Живая была важнее.

Я пришла в себя только на следующее утро в келье, куда раньше не смела и заходить, — в келье Пифии. На мне был надет чистый белоснежный хитон, на голове — лавровый венок, на запястьях — золотые браслеты в виде змей, кусающих собственные хвосты. Я не знала, кто меня переодевал, кто залечивал мои разбитые в кровь локти и колени, кто расчёсывал мои спутанные волосы. Я была как кукла, которую нарядили к празднику.

У двери стоял Клеобул. Этот высокий сухой жрец с лицом, лишённым эмоций.

— Ты — новая Пифия, — произнёс он ровным голосом. — Аполлон избрал тебя. Ты примешь этот дар.

Я лежала на низкой кровати, покрытой овчиной и смотрела в каменный потолок. Моё тело болело так, будто меня избили. Голова кружилась от голода — перед днём пророчеств Пифию всегда держали без еды, и теперь этот обычай перешёл ко мне. Во рту стоял вкус крови и желчи.

— Я не хочу, — прошептала я. — Я не хочу быть Пифией. Пожалуйста...

Но Клеобул уже вышел, и дверь за ним закрылась.

Никто не спросил меня, хочу ли я этого. Никто не спросил меня, согласна ли я дышать ядовитыми парами до конца своих дней, биться в судорогах на потеху толпе и предсказывать чужие судьбы, пока моё тело не высохнет так же, как высохло тело предыдущей. Я была избрана. И этого было достаточно.

Первое пророчество я изрекла на следующий день. Голодная, обессиленная, с разбитыми в кровь губами и дрожащими руками. Меня подвели к треножнику, усадили над расщелиной, и когда газы поднялись вверх и обожгли мне ноздри, Зверь в моём затылке проснулся и закричал.

Я видела нити. Сотни нитей, дрожащих в полумраке адитона.

И я говорила. Слова выходили из моего рта сами собой, и я не знала, мои они или чьи-то ещё.

Когда всё закончилось, я лежала на каменном полу в луже собственной мочи и слюны, рука не слушалась, и жрецы перешагивали через меня, записывая пророчества на восковых табличках. Никто не наклонился, чтобы помочь мне подняться. Никто не спросил, как я себя чувствую. Никто не подал мне воды.

Я была сосудом. А о сосудах не заботятся. Их используют, пока они не треснут. Я была козой-кормилицей, которая приносила храму славу и щедрые дары, питающие обитателей храма и Верховного жреца, пока сама я медленно погибала.

С того дня прошло шесть лет.

Шесть лет я вдыхаю ядовитую пневму. Шесть лет я бьюсь в судорогах на треножнике. Шесть лет я обрываю нити чужих судеб.

Моё тело стало прозрачным, как старая ткань, через которую просвечивают кости. Кожа приобрела тот зеленовато-бледный оттенок, который заставляет паломников шептаться о «священной немощи Пифии». Тёмные круги под глазами, которые не исчезают даже после долгого сна. Пальцы, которые дрожат, даже после приёма пищи. Ломота в суставах по утрам, и привкус крови на губах после каждого пророчества.

Клеобул говорит, что я величайшая Пифия за последние сто лет. Мои пророчества сбываются с пугающей точностью. Паломники стекаются в Дельфы со всей Эллады, и дары храму растут с каждым месяцем. Я — сокровище. Я — гордость. Я — инструмент, который работает исправно.

Но каждую ночь, когда я лежу в своей келье и смотрю в каменный потолок, я вспоминаю ту маленькую девочку, которая шла по пыльной дороге с красной лентой в волосах. Она думала, что идёт смотреть представление. Она не знала, что представлением станет вся её жизнь.

А иногда, когда припадок накрывает меня с особенной силой, и я падаю во тьму, я вижу мать. Её лицо всё ещё размыто. Но пальцы — сухие, мозолистые, с жёлтыми ногтями — я помню так ясно, будто она только вчера заплетала мне косы.

«Терпи, Ксанфа. Терпи, девочка. Будет красиво».

Я терплю. Будет ли красиво — не знаю.

Глава II. Посольство

Бронзовое зеркало, висевшее на стене моей кельи — единственная роскошь, которую мне позволили. Жрецы считали, что Пифия должна выглядеть достойно перед паломниками, а значит, должна иметь возможность видеть своё лицо. Поправлять вуаль. Стирать потёки сурьмы под глазами после припадка. Быть красивым сосудом для бога.

Я стояла перед зеркалом обнажённой, если не считать узкой полоски льняной ткани на бёдрах, и холод сквозил по коже, покрывая её мурашками. Эвфросина с час назад принесла воду для омовения — тёплую, почти горячую, что было редкостью и настоящей роскошью, — и натёрла моё тело оливковым маслом пополам с лавровым настоем. Ритуал. Очищение перед скорым приёмом важных гостей. Масло ещё блестело на плечах и ключицах, делая кожу влажно-золотистой в свете единственной масляной лампы, что чадила на каменном выступе у двери. И теперь я рассматривала себя в отполированной бронзе.

Вечерний свет сочился сквозь узкое окно — жидкий, золотисто-серый, какой бывает только в Дельфах на закате, когда солнце уже упало за Парнас, но небо ещё не утратило последней дневной бледности. В келье плавали сумерки, и бронза зеркала делала их глубже, превращала в зеленовато-медный полумрак, в котором моё отражение казалось призрачным, размытым по краям.

Я проводила перед ним много времени, когда могла контролировать своё тело и свой разум. Не потому, что была тщеславна. Это был единственный способ вспомнить, что я всё ещё существую. Что я не просто голос, выкрикивающий пророчества в дыму адитона. Что у меня есть лицо. Тело. Кожа, под которой течёт кровь. И во тьме одинокой кельи лишь собственное отражение бывает внимательным собеседником.

Я поднесла масляную лампу поближе и наклонилась к самому зеркалу.

Из бронзовой глубины на меня смотрела незнакомка.

Нет, конечно, это была я — Ксанфа, Пифия Дельфийская, уста Аполлона и прочее, прочее. Но иногда, особенно в такие вечера, когда тело ещё не вполне оправилось от последнего припадка, а голова была ясной и пустой, я видела себя словно впервые. И не узнавала.

Черты лица у меня были правильные, даже тонкие. Высокий лоб, который жрецы называли «благородным» и «достойным божественного поцелуя». Прямой нос, тонкий, с чуть заметной горбинкой. Скулы — пожалуй, высоковаты, но при нормальном весе это не бросалось бы в глаза. Подбородок маленький, но упрямый. Я потрогала его пальцами — влажными, всё ещё пахнущими оливковым маслом. Шея была длинной и бледной, с голубоватой жилкой, бьющейся у самой поверхности, — единственным признаком того, что сердце всё ещё гонит кровь по этому измождённому телу. Губы — сухие, потрескавшиеся, бледно-розовые, как выцветший коралл. Когда-то, наверное, они были красивого цвета — цвета спелой вишни или гранатовых зёрен, как у здоровых деревенских девушек.

Я могла быть красивой.

Если бы не голод. Если бы не ядовитые пары. Если бы не эти шесть лет на треножнике, которые высосали из меня всю кровь и заменили её на серный дым. Если бы не родители, продавшие меня в храм.

Кожа моя была бледна до зеленоватого оттенка — я уже говорила об этом, но каждый раз, глядя в зеркало, я думала о том, что эта бледность никогда не пройдёт. Солнце не касалось моего лица годами. Я выходила во внешний двор храма, только когда того требовал ритуал, в большие празднества, когда Пифия должна была благословлять народ, и то в вечернее время. Но и тогда лицо моё скрывала вуаль. Моя кожа стала похожа на кожу подземных тварей, что живут в пещерах и никогда не видят света, — прозрачная, тонкая, с голубыми прожилками вен под ней.

На кого я похожа?

Я не помнила лиц. Мать и отец существовали в моей памяти как тени — мать с её вечной полуулыбкой и руками, спрятанными в складках пеплоса; отец с тяжёлым затылком и походкой человека, который привык носить мешки с зерном. Но черты их ускользали. Я пыталась собрать из осколков детских воспоминаний мать — и видела только её улыбку, ту самую, натянутую. Пыталась собрать отца — и видела только его ладонь с короткими, грязными и жёсткими пальцами, сжимающую горлышко винного кувшина или материнское горло.

Я подняла лампу выше и вгляделась в свои глаза.

Карие. Темнее, чем у Кору, — это я помнила. У сестрицы глаза были светлее, цвета гречишного мёда, и они всегда казались чуть прищуренными, словно она смотрела на мир с вечным недоверием. Мои же — глубокого коричневого оттенка, как речной ил, хоть и тусклые. Но в остальном — те же, что и у сестры, а может и у матери: миндалевидный разрез, длинные ресницы, которые, если бы я не теряла их из-за слабости тела, могли бы быть красивыми. Под глазами — тёмные круги, залёгшие так глубоко, что их не скрыть было полностью ни сурьмой, ни белилами. Тени яда, скопившегося в теле, от недосыпа, от усталости.

Губы — вот что было материнским. Сухие, потрескавшиеся, с вечными ранками в уголках, которые не заживали из-за частых судорог. Я провела пальцем по нижней губе — она была шершавой, как старая кожа, и на подушечке осталась капелька крови. Опять разошлась трещинка, которую я не заметила. Мать тоже вечно облизывала губы и не пользовалась бальзамом. Я помню, как она прикусывала нижнюю губу, когда злилась, и как иногда на ней выступала кровь — такая же яркая на смуглой коже, как у меня на бледной.

Я попыталась улыбнуться.

Отражение оскалилось в ответ. Смотреть на это было страшно. Губы растянулись, обнажив зубы — ровные, белые, одна из немногих милостей, которые подарило мне тело, — но сама улыбка была неправильной. Искусственной. Глаза при этом не менялись — они смотрели всё с той же застывшей, отстранённой грустью, которая никуда не исчезала, даже когда губы двигались. На мгновение мне стало холодно — потому что из бронзы на меня глянула мать. Не лицо, — нет, — само выражение. Растянутые в стороны губы, которые не затрагивают глаз. Моя мать улыбалась именно так. Когда отец кричал на неё. Когда соседи сплетничали за её спиной. Когда денег не было даже на муку. Когда она говорила мне, что всё хорошо, хотя за пазухой у неё лежал кошель с деньгами, полученными за мою жизнь.

Я перестала улыбаться, отражение снова сделалось моим, и стала рассматривать своё тело.

Худоба была пугающей. Я знала это, но каждый раз, глядя на себя без одежды, поражалась заново. Ключицы выпирали, как два крыла, — острые, хрупкие, обтянутые тонкой кожей. Между рёбрами можно было пересчитать каждую ложбинку, каждое углубление. Грудь — маленькая, почти мальчишеская, — опустилась раньше времени, и это злило меня особенно сильно. Мне было двадцать три года. Моя грудь должна была быть упругой и полной, как у крестьянок, что ходили к источнику за водой с прямыми спинами и округлыми бёдрами, как у других молодых жриц в храме. Вместо этого она напоминала два пустых кошелька, сшитых из слишком тонкой кожи.

Я повернулась боком и посмотрела на свой живот. Плоский. Даже впалый. Рёбра выпирали так, что ложились тенями на бока. Бёдра — узкие. Ноги — длинные, но тонкие, с выступающими коленными чашечками, как у новорождённого жеребёнка.

Я могла бы быть красивой.

Волосы у меня были каштановые, вьющиеся крупными кольцами. У матери, кажется, светло-русые и прямые — помню, как она заплетала их в тугую косу и укладывала вокруг головы. У отца, может быть, чёрные или тёмно-каштановые? Не помню. Вообще ничего не

помню о его волосах. Может, он был лысеющим, как Клеобул? От этой мысли я чуть не усмехнулась, представив Клеобула в роли отца.

Я взяла со столика гребень — простой, деревянный, с частыми зубцами, отполированный годами чужих прикосновений, — и принялась расчёсывать пряди, медленно, чтобы не дёргать и без того ломкие волосы. Они были ещё влажными после мытья, тяжёлыми, длинными — ниже груди. Когда-то я гордилась ими. Они были едва ли не единственным, что во мне оставалось живым. Но даже они тускнели с каждым месяцем.

Зубцы прошли сквозь выющую массу и оставили после себя тонкие коричневые нити — выпавшие волосы. Я смотрела на эти нити, застрявшие между зубцами, и чувствовала, как внутри поднимается глухое, бессильное бешенство. Их становилось всё больше с каждым месяцем. С каждым припадком. С каждым днём над расщелиной.

Я выдернула прядь из гребня и поднесла к глазам. Десять, двенадцать, пятнадцать волосков — и это после одного расчёсывания. А сколько выпадет завтра, когда меня снова скрутит на треножнике?

Мои волосы выпадали. Это случалось и раньше — после особенно сильных припадков, после недель голода, когда тело начинало пожирать само себя. Но каждый раз я замечала это заново. И каждый раз это вызывало во мне одну и ту же ярость — бессильную, слепую, детскую.

Я смотрела на прядь в своих пальцах и думала: вот ещё одна часть меня, которая умирает. Ещё одна часть меня, которую этот храм, эти газы, поднимающиеся из расщелины, эти голодные дни и припадочные ночи забирают без спроса. Как забрали моё детство. Как забрали мою свободу. Как заберут мою жизнь — по капле, по пряди, по кусочку кожи.

Сколько ещё, пока я не облысею, как прежняя Пифия, которая в последние годы носила парик под лавровым венком и вуалью?

Злость поднялась к горлу, сжала его, перехватила дыхание. Рука, ещё вчера висевшая мёртвым грузом, внезапно дёрнулась — и я швырнула гребень в стену. Он ударился о каменную кладку с глухим треском, отскочил, упал в пыль у порога и замер там, щеря сломанные зубцы, как старик — остатки зубов.

Правая рука, которая вчера совсем не слушалась и висела безвольной плетью после припадка. Сегодня она слушалась. Теперь же она могла держать крепко и швырять предметы.

Это опьяняло маленькой, глупой, отчаянной радостью, которую не с кем разделить. Я сжала и разжала кулак. Согнула в локте, разогнула, повернула ладонью вверх, растопырила пальцы и смотрела, как они дрожат от напряжения. Я боялась, что на этот раз священный паралич останется навсегда. Но нет. Аполлон поиграл и вернул. Поблагодарить его? За что? За то, что вернул он не из милости, а чтобы новая любимица продолжала вещать и притягивать больше паломников в храм?

Тишина.

Я закрыла глаза. Медленно выдохнула. Заставила плечи опуститься.

Где-то далеко, в глубине сознания, раздался смех. Короткий, мелодичный, узнаваемый. Я не ответила ему.

Я опустила на каменное ложе, обхватила бедра руками и прижалась лбом к собственным коленям. Кожа была прохладной и влажной. Запах оливкового масла и лавра, ещё не до конца впитавшийся в тело, щекотал ноздри.

Я не знаю, сколько времени я просидела так. В храме время идёт странно — то растягивается, как мёд, то сжимается в точку. Окно потемнело, значит, наступила ночь. Масляная лампа на столике догорала, чадила чёрным дымком и бросала прыгающие тени на стены.

Я натянула чистый хитон — не парадный, расшитый золотом, а простой, который носила в обычные дни. Накинула на плечи покрывало и села на край постели.

Еда.

Вчера Эвфросина спрятала для меня свёрток в адитоне. Я не смогла забрать его сразу после припадка — меня отнесли в келью на руках, и я пролежала без сознания несколько часов, а затем не находила сил на то, чтобы подняться с места. Но теперь, когда голова прояснилась, я вспомнила об этом.

Обычно Эвфросина оставляла еду за статуей Аполлона-Целителя в левом крыле адитона — там, где тень была гуще всего и куда жрецы почти не заглядывали. Иногда — в щели алтаря, за старым гобеленом, под расшатанной каменной плитой у западной стены. Места менялись каждые несколько дней, чтобы Клеобул не смог их вычислить. Мы придумали систему знаков: два камня, положенные крест-накрест, означали, что еда слева от треножника. Три камешка в ряд — справа. Веточка лавра у моей двери — не ищи сегодня, опасно.

Сегодня я не выходила из кельи и не знала, есть ли у двери лавровая ветвь. Но была ли опасность? Клеобул уже проверил меня, убедился, что паралич прошёл, и ушёл. Ночь. Жрецы спят. Рабы убирают последствия дня где-то во внешнем дворе. В адитон всё равно никто не сунется до завтрашнего утра — до прихода посольства из Мегар.

Я набросила на плечи гиматий — плотный шерстяной плащ, спасавший от ночного холода, — и бесшумно выскользнула из кельи.

Длинные коридоры храма спали. Факелы на стенах почти догорели, в темноте белый мрамор казался серым, а тени от статуй — живыми существами, затаившимися по углам. Я шла босиком, потому что сандалии стучали бы по камню и разбудили бы эхо, а эхо в храме — опасный союзник: оно разносит звук по всем галереям и привлекает внимание.

Мои босые ступни беззвучно ступали по холодным плитам. Я знала каждый поворот этого храма, каждую трещину в полу, каждую скрипучую дверь. Я могла бы пройти его с закрытыми глазами — и иногда, когда припадок накрывал меня прямо в коридоре и я теряла зрение на несколько часов, я действительно пробиралась обратно в келью наощупь. Храм был моей тюрьмой, но тюрьму свою узник знает даже лучше, чем тюремщик.

Адитон встретил меня тьмой и знакомым запахом — сладковато-гнилостным, с примесью серы и ладана, который жгли здесь днём для паломников.

Я обошла треножник — он стоял прямо над трещиной в скале, закреплённый бронзовыми скобами, чтобы не опрокинулся во время моих судорог, падать могла я, но только не треножник, — и направилась к статуе Аполлона-Целителя в левом крыле. Это была старая статуя, меньше ростом, чем главный кумир, и скрытая в нише, куда почти не заглядывали паломники. Аполлон здесь был изображён с лирой в одной руке и сандалом в другой — странный образ, означавший, что бог врачует раны так же легко, как перебирает струны.

За постаментом, в щели между мраморным основанием и стеной, я нащупала свёрток.

Тряпица, старая, но чистая, застиранная до нитяной основы, перевязанная обрывком бечёвки. Внутри — кусок ячменной лепёшки, уже начавшей черстветь, но всё ещё съедобной, и горсть сморщенных маслин, мелких, с косточками, которые приходилось выплёвывать в ладонь. Настоящее богатство.

Я развернула ткань, поднесла к лицу и вдохнула запах. Живот тут же скрутило.

Если бы не Эвфросина, я бы умерла.

Я знала это так же ясно, как знала, что солнце всходит на востоке, а припадки приходят от голода и газов. Жрецы морили меня голодом, потому что голодная Пифия глубже падает в транс. Они не хотели моей смерти, но и не заботились о моей жизни. Это была та же самая странная, жестокая система, выстроенная Клеобулом: сосуд должен служить и приносить пользу. Если сосуд разобьётся... что ж, найдём новый.

Эвфросина нарушала эту систему. Маленькая, сгорбленная рабыня с узловатыми пальцами и присвистывающей из-за отсутствующих нескольких зубов речью — она крада еду с храмовой кухни и прятала её для меня, рискуя быть пойманной и избитой. И она уже была поймана однажды примерно с год назад, когда Клеобул заметил её, крадущуюся к статуе в саду

среди ночи, и нашёл свёрток в руках. Её выпороли тогда, но она не выдала тогда, для кого прятала пищу. Не сказала ни слова. Просто приняла наказание, а через некоторое время, когда раны на спине затянулись, снова начала оставлять еду, только придумала наш секретный язык жестов, шифр, чтобы была меньшая вероятность попасться.

Я не знала, почему она это делает. Может быть, она просто не могла видеть, как кто-то умирает от голода, — даже не умея помочь ничем, кроме куска хлеба. Может быть, она любила меня. Я не знала.

Но я прекрасно понимала, что без неё меня бы, возможно, уже здесь не было.

Быть может, это было ужасно глупо — цепляться за жизнь в моём положении, но вопреки всему, жить я хотела. Свободной, счастливой.

Я села на пол, прямо на холодный камень, прислонившись спиной к постаменту Аполлона-Целителя, и стала есть. Ячменная мука была грубого помола, с отрубями, которые царапали нёбо. Масла в тесто для рабов не добавляли, и лепёшка была сухой, как дорожная пыль. Она крошилась в пальцах, маслины были солёными и кислыми одновременно — но для меня это был настоящий пир. Но я жевала лепёшку медленно, закрыв глаза, растягивая каждую упавшую крошку, потому что не знала, когда снова смогу поесть, и чувствовала, как голод понемногу отступает, втягивает свои когти и уползает обратно в берлогу.

Завтра придёт посольство из Мегар. Клеобул предупредил заранее: никакой еды сегодня. Только разбавленное вино, которое принесла храмовая прислужница, — водянистое, кислое, почти безвкусное, но хоть какая-то влага для пересохшего горла. Если бы не Эвфросина, мой желудок был бы совершенно пустым, а рассудок задурманен алкоголем, хоть и в малой концентрации.

Я съела всё до последней крошки. Потом свернула тряпицу и спрятала её обратно за статую — завтра Эвфросина заберёт её и, может быть, принесёт ещё. И вернулась в свою келью.

Сон не приходил.

Я лежала в темноте и слушала, как ветер завывает между колоннами храма. Где-то далеко, но при этом совсем близко, дышала расщелина — я чувствовала её дыхание даже здесь, даже сквозь толщу камня. Она была как живое существо, как зверь, который спит в чреве горы и просыпается, только когда я всхожу на треножник.

Я думала о матери. О её улыбке. О том кошеле с сотней драхм, который она запихнула за пазуху, думая, что маленькая девочка не заметит. О том, что на эти деньги они, наверное, купили зерна на зиму и новой одежды братьям да сестрице, и, может быть, вина отцу — хорошего вина, не разбавленного, такого, от которого он становился не злым, а плаксивым, и просил у матери прощения за сломанный стол, нехватку денег и побои.

Мне хотелось верить, что мать плакала потом. Что она шла по горной тропе обратно в деревню и плакала, и оглядывалась, и хотела вернуться за мной. Что отец молчал не из равнодушия, а потому что боялся — если откроет рот, то закричит, и тогда его решимость рухнет.

Мне хотелось верить.

Но я видела слишком много человеческих судеб за эти годы. Я видела, как мать душит младенца во сне, потому что не может прокормить шестерых. Я видела, как отец продаёт дочь в рабство в дом утех за долги и спит спокойно в ту же ночь. Я видела, как брат убивает брата из-за наследства и не чувствует ничего, кроме досады из-за испорченного хитона. Люди не таковы, какими их рисуют на фресках и в мифах. Люди — это голод, страх и жадность, часто завёрнутые в лохмотья добродетели.

Мои родители продали меня. Они получили серебро и ушли, оставив шестилетнюю девочку на пороге чужого мира. И мать улыбалась.

Я закрыла глаза.

Утро началось с того, что в мою дверь постучали.

Я почти не спала — да и не пыталась. Вернувшись из адитона, я легла на лежанку и пролежала так до рассвета, глядя в каменный потолок и слушая, как просыпается храм. Шаги в коридорах. Голоса жрецов, распевających утренний гимн.

Стук. Три удара — резкие, отрывистые. Клеобул.

— Войди.

Дверь открылась. Клеобул вошёл. Как всегда, прямой как копьё, сухой, с лицом, лишённым всякого выражения. Он держал в руках глиняную чашу с вином, разбавленным лавровым настоем. Его лицо было бесстрастно, как всегда, но в тёмных глазах мелькала искра напряжённого ожидания. Посольство из Мегар было важно для храма. Мегары — богатый полис, который соперничал с Коринфом за торговые пути через Истмийский перешеек. Если их послы получают хорошее пророчество, дары будут щедрыми. Если нет — храм потеряет доход, и Клеобулу придётся объяснять Верховному, почему священная Пифия не смогла убедить гостей. Его тёмные глаза скользнули по мне, оценивая.

Я сидела на краю лежанки, закутанная в покрывало. Босая. Волосы не убраны.

— Ты выглядишь лучше, чем вчера, — произнёс он ровным голосом. — Это хорошо. Посольство из Мегар прибудет через несколько часов. Верховный жрец проведёт предварительные переговоры, затем они войдут в адитон.

— Я знаю.

— Знаешь, — он чуть склонил голову набок и прошёл внутрь, протянув мне чашу с настоем. — Тогда ты должна знать и то, что от этого пророчества зависит многое. Мегары колеблются между союзом с нами и союзом с Коринфом. Их правитель прислал послов, чтобы спросить совета. Если пророчество будет благоприятным, они заключат договор с Дельфами. Если нет — уйдут к коринфянам. Верховный надеется, что Аполлон пошлёт им правильные слова.

Я вытерла лицо подолом хитона и обернулась к нему.

— Откуда ты знаешь, о чём они спросят?

— Посольство прислало предварительный запрос с дарами. Это обычная практика для важных гостей.

— Вы уже взяли дары? — я усмехнулась.

Клеобул не ответил, но его молчание было красноречивее любых слов.

— Аполлон пошлёт им слова, — повторила я без всякого выражения, приняв чашу из его рук. — А я их произнесу. Как всегда.

Клеобул смотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Мне казалось, что его тёмные глаза видят больше, чем я хочу показать. Может быть, он догадывался, что я иногда искажаю пророчества. Может быть, нет. Во всяком случае, он ничего не говорил. Только смотрел.

— Пока что ты не получишь еды, — сказал он наконец. — Только вино с настоем, чуть позже — воду из источника. Ты знаешь правило: день большого пророчества — пост и очищение.

— Я знаю, Клеобул.

— Вот и славно.

Ещё один долгий взгляд. Потом он развернулся и вышел, прикрыв дверь с той же аккуратностью, с какой закрывают крышку дорогого саркофага.

Я осталась одна и опустила взгляд на чашу с коричневатого цвета напитком в ней. Разбавленная кислота и жуткая гадость, которую жрецы называли «очистительным питьём». Я выпила половину, остальное вылила в щель в полу. Не из гордости — просто этот напиток был отвратителен на вкус, а я всё ещё чувствовала в животе тепло от вчерашней лепёшки Эвфросины.

Потом начались приготовления.

В келью вошли две младшие жрицы, что всегда помогали мне облачаться перед большими церемониями. Молчаливые, с опущенными глазами. Они почти не говорили со мной — только перешёптывались между собой о чём-то храмовом, скучном, повседневном. Иногда мне казалось, что они меня боятся. Иногда — что презирают или жалеют. В любом случае, их руки, прикасавшиеся к моему телу, были холодными и бесстрастными, как руки лекаря, обрабатывающего рану.

Они раздели меня, сняв простой ночной хитон. Одна принесла таз с ароматической водой — на этот раз с лавром и миррой, — и обмыла мои плечи, грудь, руки и ноги, пока вторая расчёсывала мои волосы длинными, размеренными движениями.

— Госпожа теряет волосы, — тихо сказала та, что расчёсывала, обращаясь даже не ко мне, а к своей приятельнице. — Посмотри, сколько осталось на гребне.

— Это от паров, — так же тихо ответила вторая. — У старой Пифии под конец совсем облысела голова. Приходилось прятать под париком.

Я услышала каждое слово. Руки мои, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

— Не бойся, госпожа, — сказала вдруг та, что расчёсывала, и я вздрогнула, поняв, что на этот раз она обращается ко мне. — Твои волосы по-прежнему густые и длинные, нет нужды сейчас бояться.

Я медленно кивнула, не оборачиваясь. Глупые клуши. Легко им языками молоть, не понимая, о чём вообще толкуют.

Они одевали меня долго и тщательно. Сначала, поверх голого тела, длинный хитон из белейшей шерсти, расшитый по подолу золотыми лавровыми листьями — каждый листок вышит отдельно, тонкой золотой нитью, которая мерцала в свете масляных ламп. Золотой пояс, сжавший талию слишком туго — я задержала дыхание, пока его затягивали, и почувствовала, как рёбра протестуют под нажимом.

— Затяни сильнее, — приказала одна из жриц другой. — Пусть талия кажется ещё тоньше. Паломникам нравится, когда Пифия выглядит бесплотной.

Бесплотной. Ещё одно красивое слово.

Вуаль была новой — полупрозрачная, с золотой каймой, достаточно плотная, чтобы скрыть мои синяки под глазами, но достаточно тонкая, чтобы паломники могли видеть моё лицо во время транса и рассказывать потом, что «глаза Пифии побелели так, что зрачков было не видно». На деле они попросту закатывались в припадке.

Золотые браслеты-змеи сомкнулись на моих запястьях. Ожерелье легло на ключицы и привычно оттянуло шею.

— Готово, госпожа, — прошептала одна из жриц и отступила. — Ты прекрасна.

Я поднялась со стула и подошла к бронзовому зеркалу.

В мутной глубине стояла чужая женщина. Величественная, прекрасная, бесплотная. Белая ткань одеяний делала её похожей на статую, сошедшую с пьедестала. Золото мерцало в свете ламп, и казалось, будто от её тела исходит сияние. Вуаль скрывала половину лица, и видимыми оставались только губы — бледные, сухие, неподвижные.

Это была не я. Это был образ, созданный жрецами для паломников. Маска, на которую молились.

Я стояла перед зеркалом и смотрела на эту прекрасную женщину в белом, пока за дверью не раздались шаги — тяжёлые, уверенные.

— Посольство из Мегар прибыло, — раздался голос Клеобула из-за двери. — Пифия, храм ждёт тебя.

Я отвернулась от зеркала и пошла к двери, чувствуя, как колыхнется подол, как звенят браслеты на запястьях, как давит на череп лавровый венок.

Где-то в глубине затылка Золотые змеи уже просыпались, почуяв близость расщелины.

Послы прибыли, когда солнце достигло зенита.

Адитон утопал в дыму.

Курильницы сегодня жгли вдвое больше ладана, чем обычно, — я поняла это, едва переступив порог. Густой, сладковатый дым клубился под сводами, застилал глаза, оседал на языке горьким маслянистым налётом. Свечи горели тускло, и в полумраке треножник над расщелиной казался скелетом допотопного чудовища, застывшего в бронзе.

Я опустила на треножник.

Бронзовое сиденье было холодным даже сквозь одежды. Расщелина подо мной дышала — медленно, глубоко, как спящий зверь, и с каждым её выдохом снизу поднимался горячий, влажный воздух, пропитанный серой и чем-то сладковато-гнилостным. Пневма. Дыхание горы. Яд, который войдёт в мою кровь быстрее, если жрецы не поскупятся на ладан.

Сегодня они явно не поскупились.

Я закрыла глаза и стала ждать. Медленный вдох. Ещё более медленный выдох. Голод скручивал желудок тугим узлом — со вчерашнего вечера во мне не было ни крошки, кроме той лепёшки, которую я съела ночью, тайком, сидя на холодном полу у подножия статуи.

Вход в основное помещение адитона был задёрнут тяжёлым занавесом — тёмно-пурпурная ткань, расшитая золотыми зигзагами, символом молний Зевса. Но сквозь прорезь, там, где полотнища не сходились до конца, пробивалась полоска света, и я могла видеть часть главного зала. Жрецы зажгли там все светильники, — должно быть, чтобы произвести впечатление на послов.

За пределами адитона раздавались шаги и голоса. Жрецы встречали посольство у входа в храм, проводили через внешний двор, вели через главный зал, где высилась высотой в двадцать локтей статуя Аполлона из мрамора, затем повели вниз по длинной каменной лестнице. Я слышала обрывки слов — вежливые приветствия, ритуальные формулы, вопросы о погоде и дороге. Голоса были мужскими, низкими, уверенными.

Клеобул сказал, что будет пятеро. Я запомнила это, потому что сама мысль о пятерых паломниках одновременно заставляла меня внутренне сжиматься. Обычно в адитон заходили по одному, иногда по двое. Пятеро — это много. Пятеро — это значит, что вопрос сложный, государственный.

Я приоткрыла глаза и сквозь густой дым взглянула на зазор в занавесе, отделявшем адитон от пространства за ним.

Их было шестеро.

Шестеро мужчин стояли на лестнице за пологом, ожидая, пока Клеобул закончит ритуальное окропление водой. Шесть теней в полумраке. Шесть фигур в дорожных плащах, запылённых после долгого пути.

Пять послов из Мегар. Клеобул как сопровождающий и толкователь. И ещё один.

Я вгляделась в туман. Шестой стоял чуть позади остальных и казался выше и шире в плечах, чем мегарские послы, — те были по большей части пожилыми, грузными, с округлыми животами и сутулыми спинами учёных мужей и городских старейшин. Шестой же держался прямо. Даже в дорожном плаще угадывалась стать — широкие плечи, длинные ноги, выверенная осанка, выдающая уверенность тела в своих силах.

Я задержала на нём взгляд дольше, чем на остальных. Что-то в его фигуре показалось мне смутно знакомым, но сколько через меня прошло людей? Сотни. Тысячи. Я видела их сквозь пелену припадков и дым курильниц, слышала их голоса сквозь звон в ушах и боль в затылке. Лица стирались. Голоса забывались. Оставались только нити — те самые серебристые нити их судеб, которые я видела перед каждым припадком.

Занавес отодвинулся, и вошёл Клеобул.

— Пифия, — произнёс он ровным, лишённым эмоций голосом, но что-то в его тоне заставило меня насторожиться. — Послы из Мегар ожидают твоего слова.

Я медленно повернула голову и посмотрела на Клеобула сквозь вуаль. Его лицо было, как всегда, бесстрастным, но желваки на скулах напряглись.

Я вновь перевела взгляд на занавес, за которым ждали послы. Значит, Коринф. Город-соперник. Тот самый, с которым Мегары могли заключить союз против Дельф, если пророчество окажется неблагоприятным. И теперь — очевидно — коринфский посол стоял здесь, в нашем храме, ожидая моего слова.

Это была игра. Сложная политическая игра, в которой я была не игроком, а доской.

— Пусть войдут, — сказала я.

Голос мой прозвучал спокойно, даже властно. Я сама удивилась этому. Голодная, измученная, на грани очередного припадка — но здесь, в адитоне, на треножнике, я была не жертвой. Я была Пифией. Той, кто решает. Той, чьими устами говорит бог. И пусть они не знают, что бог молчит, а говорю я сама, — это неважно. Важно то, что они верят.

Клеобул коротко кивнул и отступил к колонне, сливаясь с тенью. Он всегда стоял там во время пророчеств: наблюдал, запоминал и следил, чтобы всё шло по правилам.

Занавес раздвинулся, и в адитон вошли шестеро мужчин.

Пятеро мегарских послов держались вместе, как стадо овец, сбившихся перед грозой. Я сразу определила их: два старейшины с седыми бородами и важными животами, облачённые в дорогие гиматии с пурпурной каймой; двое средних лет, вероятно, писцы или советники, с восковыми табличками в руках; и один высокий господин с брезгливо поджатыми губами, нервно теребящий край плаща — должно быть, самый знатный из посольства, возможно, дальний родич мегарского правителя.

Шестой держался в стороне. Он двигался легко, как двигаются люди, привыкшие носить доспехи, и даже стоя на месте, он не был неподвижен — покачивался с носка на пятку, готовый в любой момент сделать шаг.

Он был моложе остальных — может быть, двадцати пяти лет, — но держался с уверенностью человека, который давно привык к ответственности. Дорожный плащ его был грубее, чем у мегарцев, и скреплён на плече бронзовой фибулой простой работы, без украшений. Под плащом угадывался короткий хитон, какой носят воины, и сандалии с высокой шнуровкой, истёртые долгой ходьбой. Лицо с резкими чертами, нос с горбинкой, похоже, сломан и неправильно сросся. Шрам наискосок через левую бровь, старый и выцветший, почти белый на загорелой коже. Его волосы были светлее, чем у большинства знакомых мне людей, русые и чуть длиннее, чем носят обычно — уже отросшие после долгого похода. Светлые глаза — неестественно светлые для здешних мест, серо-голубые, как зимнее море.

Он совершенно точно не был учёным мужем. Не был дипломатом. Я видела достаточно людей, чтобы определять это сразу. Он был воином, причём воином, который привык не только сражаться и слепо следовать приказам, но и думать. Такие редко приходят к оракулу — они предпочитают крепче держаться за меч и полагаться на собственное чутьё.

Я перевела взгляд на Клеобула, потом снова на шестерых паломников и заговорила. Голос мой звучал глухо из-под вуали, но я знала, что каждое слово доносится до них отчётливо, усиленное акустикой адитона.

— Было сказано, что послов будет пятеро. Я вижу шестерых. Почему?

Пауза. Мужчины переглянулись. Глава посольства — высокий мужчина с окладистой бородой, в дорогом гиматии, окрашенном в пурпур, — кашлянул и выступил вперёд.

— Великая Пифия, прости нам это изменение. Мы не хотели оскорбить ни тебя, ни Аполлона. Он прибыл как... наблюдатель.

— Наблюдатель, — повторила я, и это прозвучало резче, чем я хотела. — В адитон не входят наблюдатели. В адитон входят лишь те, кто ищет ответа. У тебя есть вопрос к оракулу, воин?

Шестой вместо прямого ответа чуть склонил голову — не поклон, но всё же жест уважения.

Я выпрямилась на тренажёре.

— Хорошо. Пусть будет шестеро. Аполлон не отказывает никому, кто приходит с чистым сердцем.

Глава посольства снова кашлянул, прочищая горло. Я видела, как он нервничает — пальцы теребят край гиматия, кадык дёргается. Он боялся. Все они боялись, кроме воина. Тот стоял спокойно, скрестив руки на груди, и только светлые глаза следили за мной — внимательно, изучающе, без страха.

— Великая Пифия, уста Аполлона, прорицательница неложная, — начал главный, выступая вперёд и слегка склонившись в поклоне с разведёнными в стороны руками. Его голос дрожал — от страха или от благоговения, я не разбирала. — Мы прибыли из Мегар по поручению нашего правителя, чтобы спросить Феба о судьбе нашего города.

Я молчала.

— Мы хотим знать, — продолжал он, откашлявшись, — благословит ли Аполлон союз Мегар с Дельфами? Или бог укажет нам иной путь?

Иной путь. Значит, всё же Коринф. Они не хотели произносить этого вслух, пока стояли в дельфийском храме, но и скрывать не могли — очевидно, что коринфский воин стоял здесь же, у них за спиной, и ждал того же ответа, что и они.

Я перевела взгляд на шестого.

— А ты, воин? — спросила я, и голос мой прозвучал резче, чем я хотела. — Ты не из Мегар. Кто ты и зачем стоишь перед тренажёром?

Воин чуть выпрямился. Его светлые глаза встретились с моими — вернее, с тканью вуали, за которой они скрывались, — и он ответил спокойно, без дрожи:

— У меня нет своего вопроса, великая Пифия, — произнёс он, голос у него оказался низким, с хрипотцой. — Я здесь, чтобы услышать ответ на вопрос Мегар и доставить его тем, кто послал меня.

— Так ты — посол? — я позволила себе лёгкую усмешку, едва заметную под вуалью. — Ты не похож на человека, ведущего переговоры за столом.

— Моё имя Леонтис, сын Главка, гоплит из Коринфа. Воин и, если пожелаете, посол, отправленный моим городом, чтобы услышать пророчество и доставить его совету. Я не прошу отдельного слова, великая Пифия. Я лишь стою здесь, чтобы узнать волю бога наравне с мегарцами, ибо судьбы наших городов связаны.

Голос у него был низкий, ровный. Он выговаривал слова чётко, как человек, привыкший отдавать приказы, но без высокомерия, с каким говорили мегарцы.

Я прокрутила его имя в голове, но память не отзывалась ничем, кроме смутного, ускользающего узнавания его глаз. Через этот храм прошли сотни, тысячи людей. Они приходили, задавали вопросы, получали ответы и уходили. Я редко запоминала лица — особенно после припадков, когда реальность и видения смешивались в мутный поток. Может быть, этот воин уже бывал здесь раньше. Может быть, я видела его среди паломников. А может, и нет.

Но что-то в нём было. Что-то, что заставило меня задержать на нём взгляд на миг дольше обычного. Может быть, то, как он смотрел на меня. Не с похотью, не с жадностью, не с благоговейным страхом. Он смотрел так, словно пытался разглядеть что-то под слоями белой ткани и золота. Что-то настоящее. Это было странно.

Я поспешила отогнать от себя ненужные мысли.

— Посол из Коринфа, — кивнул один из мегарских старейшин, нервно оглядываясь на Клеобула. — Он сопровождал нас от самого перевала. Наш правитель счёл справедливым, чтобы обе стороны услышали пророчество одновременно.

Справедливым. Конечно. Чтобы ни один город не мог обвинить другой в подкупе оракула или подделке пророчества. Разумная предосторожность.

Я перевела взгляд на старейшину.

— Говорите, в чём ваш вопрос. Точно и ясно. Аполлон не любит пустых речей.

Старейшина сглотнул и начал снова — на этот раз складнее. Мегары стояли на распутье. Их город был невелик, но занимал важное положение на побережье. Дельфы предлагали союз — военный и торговый, с выгодными условиями для обеих сторон. Коринф предлагал иное — союз более равный, но менее щедрый, без тех уступок, которые сулили дельфийцы. Правитель Мегар колебался. Война между соискателями была бы губительна для всех. Нужен был знак.

— Великая Пифия, — начал глава, и голос его дрогнул, — наш город стоит на распутье. Мегары получили предложение о союзе от Дельф и от Коринфа. Оба союза сулят нам выгоду, но мы не можем выбрать. Наш правитель, архонт Клеон, болен и не встаёт с постели, а совет разделен пополам. Одни говорят: Дельфы — священный город, союз с ними благословит Аполлон. Другие твердят: Коринф — крепкий торговый союзник, с ним мы будем богаче. Мы пришли спросить у бога: с кем нам заключить договор? Я закрыла глаза.

Я слушала его, но уже чувствовала, как в глубине затылка начинается знакомое покалывание. Золотые змеи просыпались от испарений, исходящих из расщелины. Пневма поднималась из расщелины, обтекая мои бёдра горячими волнами, проникая под хитон, вползая в ноздри и гортань. Запах серы стал невыносимым, сладковато-гнилостным, как дыхание мертвеца.

Я чувствовала, как тело начинает дрожать. Нити начали проступать.

Сначала вокруг головы главы посольства. Потом вокруг писца с чернильными пятнами. Потом вокруг остальных — один за другим, они опутывались серебристыми линиями судьбы, которые тянулись от их тел куда-то в темноту, переплетались, расходились, образовывали сложный узор, похожий на паутину, но живой, дрожащий, постоянно меняющийся. Я видела, как одни нити становятся ярче, другие тускнеют, третьи обрываются сами собой, не дожидаясь моего прикосновения, сплетаются узлами вместе.

Золотые змеи поползли вниз по позвоночнику, и боль стала острой, почти невыносимой.

Вот первый старейшина. Его нити толсты и насыщены — он прожил долгую жизнь и умрёт в своей постели через несколько лет, окружённый внуками. Второй. Вот его нити дрожат и истончаются — болезнь уже гложет его изнутри, он умрёт через полгода, и это знание висит над ним, но он сам ещё не признаёт своего угасания. Писцы — их нити тонки и бесцветны, они проживут достаточно долго, но не оставят следа в истории. Сутулый господин с поджатыми губами — его нити темны и перепутаны, и я вижу в них предательство: он уже сейчас ведёт тайные переговоры с Коринфом, сам не зная, чем они могут обернуться.

А потом — воин. Леонтис, сын Главка.

Я скользнула взглядом по его нитям — и замерла.

Они были другими.

Яркие. Золотые, как те, что я видела только у самых важных людей, у великих царей и полководцев. Его нити тянулись далеко в будущее и разветвлялись на десятки, сотни путей. Война. Мир. Победа. Поражение. Сияние славы. И посреди этого сплетения — что-то ещё. Что-то, чего я не могла разглядеть сразу.

Я моргнула и отогнала это видение. Сначала — пророчество. Сначала — то, за чем они пришли.

Я заставила себя сосредоточиться на вопросе. Союз Мегар с Дельфами. Союз Мегар с Коринфом. Два пути. Десятки вариаций каждого.

Я стала смотреть.

Вот — Мегары заключают договор с Дельфами, их флот встаёт бок о бок с дельфийским, торгуют цветёт. Но это длится недолго. Через пару лет совет Мегар решает, что Дельфы —

слабый союзник, что священный город слишком зависит от пожертвований паломников и не может выставить достаточно гоплитов в случае войны. Мегары предают договор, их войска входят в Дельфы ночью, жгут храмовые склады, убивают жрецов и простых горожан, забирают сокровищницу. Пифия — я видела себя в этом пути, удивительно ясно, — лежит на каменном полу с перерезанным горлом и разодранным хитоном, и кровь растекается по мрамору. Храм перестраивают. Статуи Аполлона разрушают. Жертвенники оскверняют. Паломники больше не приходят. Дельфы умирают медленной смертью заброшенного святилища, и только ветер поёт в пустых колоннадах.

Я вздрогнула. Такого я не ожидала. Клеобул просил склонить Мегары к союзу с Дельфами, но он не знал, чем этот союз обернётся. Или знал? Может быть, Верховный жрец рассчитывал, что я скажу Мегарам то, что нужно, и будущее изменится. Но я не могла изменить будущее полностью — я могла лишь выбирать из того, что есть. Я не творила новые нити. Я только рвала существующие, но не могла разрушить их все.

И вот снова союз с Дельфами. Мегары хранят верность. Но Коринф не прощает. Война начинается раньше — через полгода, внезапно, без объявления. Коринфский флот высаживает наёмников на побережье. Мегары зовут Дельфы на помощь, но дельфийское ополчение не успевает. Мегары горят. Дельфы остаются одни. Война затягивается на годы.

Иной путь. Мегары предают через год, тайно договариваясь с Фивами против Коринфа и Дельф и выплачивая дань, чтобы их не трогали. Дельфы остаются в изоляции, без союзников, без портов, без торговых путей. Храм беднеет. Паломники уходят в другие святилища. Я видела себя — постаревшую, высохшую, всё ещё сидящую на треножнике, но уже никому не нужную, потому что храм потерял влияние.

А вот и союз с Коринфом. Мегары заключают договор с коринфянами. Их объединённый флот господствует в заливе. Торговля растёт, обе стороны богатеют. Архонт Клеон умирает от своей болезни через полгода — но это случается в любом случае, я видела это во всех нитях, кроме тех, где он умирал ещё раньше. После его смерти власть переходит к его сыну, молодому человеку с горячим нравом, но толковыми советниками. Он соблюдает договор с Коринфом — не из честности, а из страха перед коринфским флотом. Войны удаётся избежать. Дельфы остаются в стороне, храм стоит нетронутым.

А в этом пути Мегары не заключают союз ни с кем. Они остаются одни. Через год на них нападают воины с Крита. Город разграблен, жители угнаны в рабство. Критяне выступают на Дельфы. Эта нить обрывается быстро и страшно, и я даже не стала её досматривать.

Четвёртая, десятая, двадцатая. Я перебирала нити одну за другой, и каждая подтверждала одно и то же. Союз с Дельфами ведёт к предательству и разрушению. Союз с Коринфом — к миру, пусть и не идеальному. Это была не та правда, которую желал услышать Клеобул. Не та правда, которую он велел мне озвучить.

Я скосила глаза в его сторону. Он стоял у колонны, прямой и неподвижный, но даже в полумраке адитона я видела, как напряглись желваки на его скулах. Он ждал. Он доверял мне. Вернее, он доверял системе, которую выстроил: голод, пневма, припадки — и послушный голос, повторяющий то, что нужно храму.

Я вернулась к нитям. Смотрела и смотрела, пока боль в затылке не стала невыносимой, а Золотые змеи не запели так громко, что я перестала слышать собственное дыхание. Картина складывалась.

Союз с Дельфами вёл к беде. В большинстве путей — к ужасной войне, предательству, гибели тысяч невинных людей и разрушению храма. Мегары не были надёжными союзниками. Их правитель был слаб, его окружение — продажно. Рано или поздно они предали бы Дельфы, и тогда всё полетело бы в пропасть.

Союз с Коринфом вёл к миру. Да, он не приносил Дельфам выгоды — скорее, ставил их в положение проигравших в политической игре. Но храм устоял бы. Город устоял бы. Люди остались бы живы.

Клеобул хотел, чтобы я склонила Мегары к союзу с Дельфами. Верховный жрец наверняка напутствовал его: «Проследи, чтобы пророчество было благоприятным». Они верили, что Пифия может управлять божественным голосом, направлять его в нужное русло. Они ошибались.

Но они также верили, что Пифия боится их.

И в этом они тоже ошибались.

Я открыла глаза. Дым адитона клубился вокруг, и лица послов казались размытыми пятнами в золотистом мареве. Где-то слева белело пятно лица Клеобула — он пристально смотрел на меня из-за колонны, ожидая. Он знал, что я должна сказать. Он верил, что я послушаюсь.

Но Клеобул не видел нитей.

Я открыла рот, и слова полились сами собой — гортанные, ритмичные, чужие:

Внемлите же слову, что Феб вам вещает,

Устами моими судьбу изрекая:

С Мегарами город Дельфийский в союзе

Пожнёт лишь погибель и пепел в огне.

Предательство зреет в сердцах ваших близких,

Как змей под камнями, таится до срока.

Не с теми, кто смотрит с горы Аполлона,

А с теми, кто держит копьё в руке,

Должны вы отныне идти против врага —

Коринф да направит мегарские копьё.

Тогда сохранятся и стены святыни,

И город при море, и горный чертог.

Но знайте, послы: ваш правитель Клаон

Узрит завершение войны лишь в Аиде —

Болезнь заберёт его ранние победы,

И новые руки подхватят бразды.

Тишина.

Тяжёлая, звонкая тишина, в которой было слышно, как потрескивают угли в курильницах и как где-то далеко, за стенами храма, кричит одинокая горлица.

Послы стояли, ошеломлённые. Старший из них побледнел так, что его седая борода казалась теперь желтоватой на фоне мертвенно-белой кожи. Он открывал и закрывал рот, пытаясь что-то произнести, но слова не шли. Двое других переглядывались в ужасе — смерть правителя была страшным предсказанием. Четвёртый что-то быстро записывал на восковой табличке дрожащей рукой.

Сутулый господин с поджатыми губами — тот самый, что вёл тайные переговоры с Коринфом, — выглядел так, будто его ударили по лицу. Его предательство только что перестало быть предательством. Теперь оно стало исполнением воли бога. Я видела, как в его глазах мелькнуло облегчение, смешанное с благоговейным страхом.

Я перевела взгляд на Клеобула. Его лицо оставалось бесстрастным, но я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить гнева. Желваки ходили под кожей скул. Губы сжались в тонкую белую линию. Пальцы, сложенные на груди, побелели, впившись в предплечья. Он не ожидал этого. Он думал, что я буду послушным инструментом, повторяющим то, что велели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.